

1.

В феврале 2015 года, получив важную информацию в одной из социальных сетей, я срочно — за две недели — завершил самые необходимые дела в Бостоне и собрался в Кёльн. Мне пришлось отменить уроки со всеми учениками, раздав им домашние задания на предстоящие пару недель. Одна из студенток любезно согласилась приезжать в моё отсутствие, чтобы раз в день кормить котов и убирать за ними. С некоторой опаской я дал ей ключи от дома и от машины, разрешив пользоваться и тем, и другим пока я в отъезде.

Прилетев в Кёльн, я поселился недалеко от Собора в гостинице, несколько этажей которой занимал дом престарелых.

— Вы знаете, кто здесь живёт? — непонятым образом угадав моё происхождение, спросила по-русски попутчица в лифте (я ехал на пятый, она на четвёртый этаж).

Я не знал, но она знала — женщина в белом халате с бейджиком *Natasha* должна была знать всё:

— Здесь живут ветераны нацистской партии, — она многозначительно посмотрела мне в глаза, ожидая реакции, и добавила, — очень богатые.

Номер оказался просторным: с прихожей, кухней, симпатичной маленькой гостиной и смежной с ней спальней. Из гостиной можно было выйти на балкон, что я и сделал почти сразу. Естественно, я хотел проверить, виден ли с балкона Собор, и, частично увидев его слева, обрадовался.

Я спустился вниз и дошёл до Собора. Потоптавшись там с другими туристами, я сделал пару фотографий, зашёл внутрь. Темнота пахла сыростью и плесенью. Я вышел из Собора: щурясь на свет, огляделся вокруг. Где-то тут, в этом городе родился и писал музыку Макс Брух. Одного этого было достаточно, чтобы оглядеться вокруг.

На обратном пути к своему временному жилищу я обнаружил винный погребок. Хозяева погребка — очень пожилые люди — мужчина и женщина, едва подняв на меня глаза, тихо о чём-то переговаривались. Все стены погребка были покрыты круглыми стекляшками бутылочных донышек.

— Guten Tag, — сказал я как мог, — Говорите ли вы по-английски?

— Йа, йа! — заверила меня женщина, а мужчина кивнул головой.

Я спросил рислинг.

— Вам мозельский или рейнский? — уточнила хозяйка.

Обескураженный таким неожиданным разнообразием, я растерялся:

— А какой из них лучше?

Пожилые люди переглянулись. Лицо женщины расплылось в лукавой улыбке:

— Позвольте мне уточнить, сколько герру лет?

— Пятьдесят один, — ответил я, пожав плечами: неужели по мне не видно, что я уже в том возрасте, когда могу покупать алкоголь?

Я приготовился достать паспорт из внутреннего кармана куртки (это всегда очень нелепое движение), но хозяйка меня опередила:

— Если герр дожил до пятидесяти одного года и не знает, какой рислинг ему нравится, то герру всё равно.

Она снова улыбнулась милейшей старушечьей улыбкой. Такие улыбки бывают только у очень пожилых женщин — пациенток таких же пожилых дантистов.

Наверное, её шутка была старой, заученной, уже отработанной на других незадачливых покупателях. Она была рада, что шутка опять сработала безотказно.

— Это не мне, — я попытался спасти ситуацию; попавшему в ловушку герру не хотелось выглядеть очередным простачком. — Это в подарок. Я приглашён в гости.

— К даме?

Я ответил утвердительно.

Немного посоветовавшись по-немецки, мужчина и женщина пришли к согласию. Откуда-то появилась довольно пыльная узкая бутылка, которую, впрочем, тут же ласково обтёрли, завернули в пошловатую розовую мягкую бумагу, уложили в красивую коробку.

Расплатившись, я вышел на улицу и вернулся в гостиницу.

В холле настоящий духовой оркестр играл какое-то довоенное танго — музыке, которая была популярна ещё до рождения моей мамы. Очень старые люди, облокотившись друг на друга, едва топтались на месте. Со стороны они казались игральными картами, приставленными друг к другу для того, чтобы построить карточный домик: но эта колода карт давно отыграла свой век, растеряла всех своих козырей, потеряла смысл.

«Фашисты недобитые», — неожиданно для себя самого подумал я и поднялся в свой номер.

2.

Утром я пошёл на вокзал, который располагался прямо за Собором.

В информации я спросил о том, как мне доехать в Mönchengladbach. Я спросил по-английски, чётко выговаривая Мюнхен-глад-бах по слогам. Это почему-то не понравилось круглолицему клерку. «Мюнсенглатбах!» — трижды сказал он с вызовом и заставил меня повторить: «Мюнсенглатбах!» Я прилежно повторил, и удовлетворённый моим усердием и сговорчивостью клерк рассказал мне, с какой платформы и когда мне нужно ехать.

С трудом (и с помощью какого-то более продвинутого русского туриста) я купил в автомате нужный билет. До поезда оставалось чуть меньше часа, и я зашёл в цветочный магазин.

Пожилая цветочница и совсем юная *fräulein* любезно взглянули на меня, улыбаясь.

— Мне нужен большой букет роз. Алых роз — сказал я по-английски.

— Букет необязательно должен быть большим, чтобы быть красивым, — отозвалась пожилая цветочница.

Похоже, что весь этот город решил заняться моим запоздалым образованием.

— Хорошо, — согласился я. — Пусть будет так. Сделайте мне красивый букет из алых роз.

Пожилая цветочница кивнула молодой, и *fräulein* со знанием дела начала подбирать розы для букета. Затем в ход пошли какие-то травки, веточки с ягодками, ленточки, ловко пропущенные по острию ножниц и закружившиеся под ними; разноцветные бумажки. Закончив, *fräulein* отдала букет пожилой цветочнице. Та аккуратно достала какую-то лишнюю веточку, кивнула и осталась очень довольна.

— Не могли бы вы сделать мне небольшое одолжение? — сказал я цветочнице.

Я достал из-под ворота свитера шёлковый шнурок, на котором висело колечко, и попросил цветочницу перерезать ножницами шнурок. Она удивилась, но выполнила мою просьбу.

Я положил шнурок и колечко в карман куртки, застегнул молнию и прошёл на перрон.

Поезд — точно по расписанию, как и было обещано в Германии, отошёл от станции.

Есть что-то удивительное в движении пространства за окном. Что-то кинематографическое. Окно любого человеческого жилища даёт нам привычный вид на улицу или двор. Проедет машина, пройдёт пешеход, сменятся сезоны — листья на деревьях, снег на ветках; белое пространство, зелёное, жёлтое. Всё это меняется, но общая картина остаётся неизменной: как одна и та же фотография, пропущенная через разные фильтры. А за окном поезда всё иначе: картинка постоянно меняется, и хочется неотрывно смотреть, чтобы ничего не пропустить в этом странном фильме без сюжета. Когда глаза устают смотреть, начинается странное состояние дорожной полудрёмы, в которой реальность смешивается с воспоминаниями.

Воспоминания похожи на разглядывание пожелтевших от времени фотокарточек, случайно выхваченных из большой коробки, найденной на чердаке. Всё перемешано — но всё знакомо. Если же взять простые канцелярские кнопки и прикрепить эти фотографии в правильной последовательности к деревянной стене, можно, отойдя на пару шагов назад, попытаться мысленно вернуться в прошлое, не потеряв при этом цепочку событий.

Моя дорожная полудрёма, в которой реальность смешивается с воспоминаниями — это ряд фотографий на стене. Не все они висят в правильной последовательности, но первая из них намертво прикреплена канцелярской кнопкой конкретной даты: 31 декабря 1980 года.

3.

Это случилось в Ленинграде в последний день 1980 года. Я могу почти поминутно восстановить цепочку событий.

Мне было 17 лет, и я был безнадежно влюблён в одногруппницу Ниночку.

Мы все, первокурсники, решили встретить Новый год у одной из наших сокурсниц — Наташи, у которой был целый дом где-то за городом. Меня обещали подобрать мои новые друзья. Одним из них был Серёга Хлопин по кличке Клоп. Это прозвище он получил из-за своей фамилии, но сам Сергей на клопа никак не был похож. Он был рослым и крепким, и гораздо старше всех остальных первокурсников. Клоп уже отслужил в армии, отработал на комсомольской стройке и заработал деньги на подержанный автомобиль «Жигули».

Мы договорились, что друзья подберут меня по дороге, и мы прекрасно доедем до Наташиного дома на машине Клопа. Я даже не стал брать адрес Наташи — настолько всё было просто и понятно. Однако в назначенное время и в назначенном месте машины друзей не оказалось. Они, как потом выяснилось, совсем забыли про наш уговор и поехали прямо к Наташе.

С гитарой в коричневом чехле и бутылкой шампанского в кармане нелепого пальтишка, я прождал около часа, жутко замёрз, но так никого и не дождался. Это было обидно: я рассчитывал признаться Ниночке в любви сразу после боя курантов — а там, будь, что будет. Теперь романтическое признание откладывалось на неопределённый срок.

Время двигалось к полуночи, и я понял, что мне придётся провести праздник с родителями — в Сосновой поляне.

На Балтийском вокзале, с которого уходили поезда к нашей пригородной станции, оказалось, что ближайший поезд прибывает в Сосновую поляну уже в следующем году. Пахло горячими пирожками с мясом и шашлыками из свиного жира; и чем-то очень железнодорожным, чем пахнут все вокзалы мира.

Расстроенный, я сел на электричку до Гатчины, вышел в Лигово и перешёл на перрон поездов, идущих через Сосновую поляну в Петергоф и, далее, в Ораниенбаум.

Здесь мне предстояло встретить новый, 1981 год.

Я был абсолютно один на перроне. настолько один, что лёгкий снежок, начавшийся почти в полночь, запорошил все следы — и только мои следы были там, где я топтался, медленно замерзая. Белое пространство заснеженного железнодорожного перрона, на котором видны только твои чёрные следы — вот где символ полного одиночества: неплохой эпизод из черно-белого фильма о жизни.

Размышляя об этом, я вдруг увидел женщину. В длинном пальто с меховым воротником, в большой круглой меховой шапке, она медленно, как бы нехотя, но гордо и прямо поднималась по ступенькам на перрон. «Идёт как на эшафот» — мелькнуло в моей голове.

В неестественно белом свете станционного фонаря я увидел, что она, поднимаясь, плакала. Точнее, уже перестала плакать, но теперь пальцами правой руки как будто бы утирала с лица последние следы слёз. Чёрная кожаная перчатка торчала из правого кармана её пальто так, что могла выпасть и потеряться в любую минуту.

Женщина встала поодаль от меня, слегка отвернувшись. Подышала на ладонь, согнув пальцы, но перчатку не надела. Опять потрогала пальцами лицо, будто утирая слёзы.

Было без пяти двенадцать. Я смотрел на женщину, и мне захотелось её пожалеть. Красивая, нарядная, одна в новогоднюю ночь, да ещё и плачет.

— Простите, пожалуйста, — решил я, с хрустом протоптав в её направлении пару коротких шагов по свежему снегу. — Через пять минут Новый год и у меня есть бутылка шампанского. Я понимаю, что мы совершенно незнакомые люди, но нам обоим сегодня не повезло и мы вынуждены встречать этот праздник, этот новый для нас год, на заснеженной платформе. Может быть, если, конечно, вы не против, нам попробовать вместе достойно пережить эти временные неприятности? Ведь как встретишь Новый год, таким он и будет.

Удивившись своей собственной наглости и многословности, я достал из кармана бутылку шампанского и высоко поднял её на вытянутой руке так, будто бы изображал статую Свободы, держащую факел: я видел много карикатур этой статуи в газетных статьях, посвящённых трудной жизни американских безработных, которых не радуют неоновые огни бродвейской рекламы.

Женщина повернулась ко мне всем телом. Посмотрела удивлённо. Несколько секунд она смотрела то на меня, то на бутылку в моей вытянутой руке; зачем-то поправила шапку, чуть больше приоткрыв лоб, смешно развела руками. Её нерешительность сменилась каким-то дерзким азартом. Она улыбнулась:

— Ну что же. В этом даже что-то есть. Что-то такое наше, понятное, родное. Именно этого и следовало ожидать.

Ровно в полночь по моим часам я открыл бутылку и голосом телевизионного диктора сказал традиционное «С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем!»

Мы сделали по глотку прямо из горлышка: сначала она, потом я.

— Лёля, — сказала она.

— Лёня, — сказал я.

Она улыбнулась:

— У нас даже имена похожие.

Я тоже улыбнулся.

— И ситуации, похоже, тоже похожие, — мне показалось, что я очень смешно пошутил.

Я продолжил знакомство:

— Меня обещали подобрать и отвезти на праздник, но обманули, — посетовал я.

— А меня обещали любить всю жизнь и превратить мою жизнь в сплошной праздник — и тоже обманули, — поделилась она.

— За нас, обманутых?

— За нас!

Мы снова сделали по глотку.

Лёля показала движением руки в сторону моего коричневого гитарного чехла, и, наконец, выронила из кармана перчатку:

— Что поёте?

— А всё, что хотите: Окуджаву, Вертинского, — сказал я, поднимая перчатку и протягивая её Лёле.

Она как-то машинально сказала «merci», посмотрела на меня внимательным взглядом, надела перчатку. Глаза её немного искрились: может быть от шампанского, может потому, что в них всё ещё были слёзы — а может быть просто в отсвете станционного фонаря и свежевывавшего снега.

— Надо же, какой старомодный юноша! — сказала она с некоторым интересом. — И долго вы можете петь?

— Да хоть всю ночь! — я начинал немного хмелеть.

Подошла электричка. Мы сели в вагон напротив друг друга.

— Мне на следующей, — сказал я.

— А мне до Петергофа, — сказала Лёля.

Она сняла шапку, отряхнула её от снега, и, глядя на своё отражение в ночном окне, поправила волосы и прикоснулась подушечками пальцев где-то под левым глазом. Обе перчатки она убрала в сумочку.

Там, где у замужних женщин обычно бывает обручальное кольцо, у Лёли было серебряное колечко с какой-то гравировкой. «Видимо незамужняя или в разводе», — мысленно предположил я.

— Послушайте, Лёня, — повернулась она ко мне и прервала ход моих дедуктивных мыслей, — а можно я приглашу вас провести Новый год со мной, в Петергофе? Вы не бойтесь. Я не страшная. Я очень добрая и незлобная училка музыки. И вы совсем не похожи на маньяка. Просто вот думаю сейчас про пустую квартиру в Петергофе, про темноту за окнами... А вы Окуджаву петь всю ночь обещали и галантный такой. Может быть всё в жизни и к лучшему?

Из окна поезда я увидел свой дом. Огни в наших комнатах горели. Родители с друзьями отмечали Новый год. Что мне там делать?

И мы поехали в Петергоф.

Лёля жила в одном из низких кирпичных домов, уродливо понаставленных здесь после войны. Войдя в квартиру, она сняла пальто, грациозно предоставив мне поймать его на лету. Сбросила шапку и сапоги — и оказалась стройной женщиной, наверное, возраста моей мамы: миловидной, в изящном и явно заграничном платье чуть выше колена. Ноги её были в тёплых рейтузах, которые она, заскочив на минуту в ванную комнату, сняла, и, надев домашние тапочки со смешными меховыми помпончиками, пригласила меня в дом.

— Не снимайте обувь, Лёня. У меня можно и так.

Я немного потоптался на коврике у дверей, постучал ботинком о ботинок: не хотелось наследить в чужом доме. Не найдя, куда деть своё пальто, я повесил его прямо на ручку входной двери.

Квартира была двухкомнатной, комнаты смежными, кухня крохотной. Но в большой комнате стояло пианино. На журнальном столике ярко выделялась югославская печатная машинка с запровленными в неё листами тонкой бумаги. Повсюду на стенах висели очень непонятные картины.

— Это, кстати, Михнов-Войтенко, — сказала Лёля, перехватив мой взгляд.

Имя художника ничего мне не говорило. И я не понял, почему это «кстати». Но спрашивать не стал.

И везде, везде, везде были книги.

Наверное, я улыбнулся, когда увидел, что и книжный шкаф, и сервант, и люстра из поддельного хрусталя — всё было таким же, как и в нашей квартире. Ситуация была похожа на завязку популярного фильма, который обязательно уже несколько лет крутили по телевизору в новогоднюю ночь. На специальной тумбочке — тоже точно такой, как у нас дома — стоял проигрыватель Мелодия-103 со смешными, длинными, но квадратными в сечении колонками и новенький магнитофон Маяк-205. Также, как у нас дома. Всё как у нас — всё как у всех.

Лёля достала из холодильника какую-то нехитрую закуску, но знаменитой заливной рыбы среди неё не было. Она поставила фужеры и тарелки на стол большой комнаты. Зажгла огни на искусственной ёлочке в углу. Мы допили моё шампанское.

— Лёля, а вы уверены, что сейчас сюда не приедет Ипполит за своей бритвой? — пошутил я, охмелев и осмелев.

— Нет, Лёня, — мгновенно поняла мою шутку Лёля, — Ипполит, можно сказать, умер. Не бойтесь, сюда никто не приедет и стоять в пальто под душем тоже никто, надеюсь, не будет.

Она слегка погрузнела; я пожалел, что пошутил как-то неловко.

Тожe ощутив эту неловкость, Лёля улыбнулась, и я, немного смущаясь, расчехлил гитару; начал петь Окуджаву: простую, но добрую песню про московского муравья и какие-то другие его песни.

— У вас хороший слух, Лёня. Вы занимались музыкой?

— Я закончил музыкальную школу по классу скрипки, — гордо сказал я.

— Как настоящий хороший еврейский мальчик? — с улыбкой спросила Лёля и мне стало неприятно.

— Да, — отрезал я. — Надеюсь, у вас нет с этим проблем?

Вопрос моей национальности возникал при любом знакомстве. Я, честно говоря, ждал его и в этот раз.

— Не сердись, Лёня. «Мы с тобой одной крови: ты и я», — улыбнулась она, внезапно и просто перейдя на «ты».

Я не сердился, но продолжал быть с ней на «вы».

— Вы знаете, у меня ведь абсолютный слух, — зачем-то похвастался я. — Я могу сказать любую ноту.

— Да? Ну-ка, проверим!

Лёля дотронулась пальцем до пустого фужера, и он зазвучал.

— Что за нота, маэстро?

— Почти чистый ля-бемоль. Чутьочку ниже, — я почему-то совсем смутился.

Она снова коснулась фужера, неожиданно порывисто подошла к пианино, взяла ля-бемоль.

— Хм. Смотри-ка ты! Хотя в настройщики роялей нанимайся. Хорошие деньги, между прочим.

«Смотри-ка ты — смотри, коты». Я мысленно сделал эту словесную эквилибристику — мне показалось, что она обиделась на что-то. Мне не хотелось, чтобы она думала, что я хвастун:

— Я давно заметил, ещё в детстве, что всегда пою в ля-миноре и до-мажоре. Вот если я просто начну петь, всегда будет ля-минор или, соответственно, до-мажор. Сказал об этом учительнице сольфеджио. Она проверила — и правда. Посоветовала это развивать. Я и развивал. Слышал звуки и примерял их к «ля», которое всегда у меня в голове. А тут всего полтона вниз. Это несложно...

— О, интересно! Значит у тебя есть внутренний камертон. Это не так просто. Это твои способности плюс усердие. Это то, что любой учитель ценит в ученике.

— Вот и я говорю! А мне всегда говорили, что я необучаемый!

— Необучаемых учеников нет. Есть плохие учителя. Впрочем, никто ничего не знает. Всякое бывает. Вот я занималась в детстве фигурным катанием у хорошего тренера, но так ничему и не научилась. А на фортепиано научилась.

Лёля села к инструменту, взяла несколько аккордов и вдруг бегло и хорошо начала играть Баха. Какой-то отрывок из Гольдберговских вариаций. Я прекрасно знал эту музыку: у отца была магнитофонная запись этих Вариаций в исполнении Гленна Гульда. Эта плёнка часто звучала у нас в доме музыкальным фоном.

Лёля играла немного иначе чем Гульд: гладко и как бы слитно, но я, конечно, всё равно узнал эту музыку.

— Знаешь, что это?



Всё это было похоже на импровизированный экзамен, но экзаменатор не застал отличника врасплох:

— Это Бах. Гольдберговские вариации. Только не знаю, какая из них.

— Даже так? — уже очень заметно удивилась Лёля. — И правда, старомодный юноша!

Она усадила меня к пианино.

— У тебя же должны были быть уроки фортепиано в дополнение к твоей скрипке и сольфеджио. Общий курс, или как там это называется. Сыграй что-нибудь.

— Я ничего не помню. Но я могу сыграть любую песню. На слух. Хотите?

И я сыграл что-то из популярного на тот момент. Потом ещё что-то, и ещё.

— Сам подбирал?

— Да.

— А почему всё в одной тональности?

— Вот опять — внутренний камертон. Или, если проще сказать, в другой не умею, — честно признался я, теперь уже как нерадивый школьник на уроке.

Лёля взяла мою руку и внимательно потрогала подушечки пальцев моей правой руки.

— С тобой можно работать. Расслабь кисть. Вот так. Теперь прикоснись пальцем к своему носу. Вот этим, да. Очень мягко, аккуратно. А теперь так же прикоснись к клавише. Чувствуешь разницу?

Я чувствовал.

— Теперь сыграй опять, но не дави на педаль всё время, как автогонщик, а только там, где начинается фраза. Сможешь?

Я попробовал.

— А почему ты решил податься в инженеры — ведь ты же учишься в инженерном ВУЗе? — догадалась она. — Кем станешь? Инженером-сантехником?

Я кивнул, подтвердив её догадку:

— Теплоэнергетиком.

— Из-за военной кафедры туда пошёл?

Я утвердительно кивнул.

— Бах для меня Бог, Лёня. А Гульд — пророк его. Ты знаешь что-нибудь про Гульда?

Я почти ничего не знал.

— Он изменил всю мою жизнь. Я была на его концерте молодой девочкой. В твоём, наверное, возрасте. И этот концерт переменял всю мою жизнь. Там в первом отделении зал был почти пустой, а во втором отделении яблоку было некуда упасть: консерваторские преподаватели и студенты позвонили в антракте своим друзьям и рассказали о чуде. Это было чудо, Лёня.

Я поверил её словам.

— А у меня тогда было очень плохо на душе. Очень. И вот тут Гульд! И я решила, что стану учителем музыки. Я неплохо уже играла тогда. Смотри! — ска-

зала она, встала, открыла дверцы тумбочки под проигрывателем, и я увидел ряд плотно стоявших пластинок. — Вот! Практически все записи Гульда!

Она достала несколько пластинок. Это были заграничные диски. Я видел у друзей заграничные диски рок-музыки, но заграничные пластинки классики я увидел впервые.

— Знаешь, какая моя любимая? — спросила она. — Вот эта!

Она протянула мне тяжёлый конверт серовато-голубого цвета.

— Это «Итальянский концерт» Баха и две его Партиты: Первая и Вторая. Гленн Гульд. Columbia Records, 1960 год. Ты ведь тогда, наверное, ещё не родился?

Я кивнул: я родился через три года.

Передав ей обратно пластинку, я с удивлением отметил, насколько изменилось её лицо — насколько красивым оно вдруг стало. Так, видимо, всегда бывает, когда человек говорит о чём-то, что ему очень дорого.

— А Бах для меня тоже Бог, — зачем-то сказал я. — На выпускном экзамене в музыкальной школе я играл Ля-минорный Концерт Баха. Ну не весь, конечно, — смутился я, — но всю первую часть!

— Видишь! Мы с тобой не только одной крови, но и одной религии, — улыбнулась Лёля.

— Смотри, — сказала она и достала ещё одну пластинку, — вот это — французский джазовый хор. «Свингл синглерс». Не слышал?

Я помотал головой. Я не слышал.

Лёля достала из чёрного конверта с цветными камешками на картинке пластинку с кружочком Philips. Пластинка завертелась под тонкой иглой, и комната наполнилась звуками Баха в каком-то богемном, ярком исполнении: мужские и женские голоса легко и непринуждённо смешивались со звоном оркестрового треугольника и с сухими ударами джазового барабана.

5.

Где-то ближе к четырём Лёля пошла спать в другую комнату.

Мне она постелила на диване — прямо напротив пианино.

Лёжа на спине, я слышал, как она мылась в душе, видел свет, идущий из-под двери ванной. Когда шум воды прекратился, я повернулся лицом к стене: машинальное движение человека, которому уже довелось делить ночлег с чужими людьми.

Дверь её комнаты закрылась, и я повернулся обратно на спину. Спать совсем не хотелось. Найдя в темноте выключатель над диваном, я включил свет.

На кухне довольно сильно капала вода из крана. Это мешало.

Наконец, я встал, прошёл на кухню, попытался закрыть кран. Вода продолжала капать. «Понятно, — подумал я. — Нормальные мужики здесь не водятся».

На обратном пути к дивану я заметил, что на одном из стульев лежали книги. Точнее даже не книги, а переплетённые в твёрдом переплёте листки тонкой бумаги с напечатанным на машинке текстом. Я взял одну из них. «Владимир Набо-

ков. Машенька». Никогда не слышал имени этого автора. Никогда не читал таких странных самодельных книг.

Я читал до самого утра — точнее часов до восьми, когда Лёля проснулась.

— Если тебе нужно почистить зубы, у меня есть новая зубная щётка, — сказала Лёля, увидев, что я не сплю.

«И правда училка», — подумал я.

Лёля между тем сделала кофе и довольно посредственную яичницу.

— Я очень плохо готовлю, — предупредила она.

Я это уже понял.

— У тебя красивый и необычный для еврейского мальчика цвет глаз, — заметила Лёля. — Даже не пойму, какого они у тебя цвета: лазурные?

— Это в маму. У неё такие же глаза. Она говорит, что у нас в роду где-то есть польская кровь.

Мне нужно было уходить, но совсем не хотелось. Точнее, хотелось приходить сюда ещё и ещё. Я не мог пока объяснить себе почему, но вдруг стало совершенно очевидно, что мир в этой квартире мне гораздо ближе, уютнее тёмного холодного мира за окном.

— Можно я возьму эту книгу? Я начал её читать и почти прочитал. Хочу знать, чем всё у них там закончится. Я верну.

— Хорошо. Договорились. Я буду давать тебе книги. Но с двумя условиями: ты никогда и никому не скажешь, что читаешь эти книги и откуда они у тебя — и всегда-всегда будешь их возвращать обратно. Такие вот правила в этой библиотеке, мой дорогой юный абонент.

Я согласился, и, немного помявшись, добавил:

— А если я принесу в следующий раз магнитофонную ленту, вы мне разрешите записать французский джазовый хор?

— Да просто возьми пластинку с собой. Дома запишешь и вернёшь.

Мне было приятно это доверие.

Я вышел от Лёли с гитарой в одной руке и ярким пакетом, в котором лежала Набоковская «Машенька» и заграничная пластинка, в другой.

Прямо через дорогу был залит каток с лампочками над ним, но в это раннее новогоднее утро лампочки над катком не горели и никого вокруг не было: ни на катке, ни на улице.

Я положил гитару на скамейку. Пакет положил сверху. Аккуратно ступил на лёд катка. Потом разбежался, проехал от края до края и обратно, удерживая баланс обеими руками.

Я был непонятно, необъяснимо счастлив.

Родителям я не сказал, где провёл Новый год.



изобразил на срубке



б.

Через неделю я вернул Лёле пластинку и «Машеньку» и взял почитать «Защиту Лужина».

Заодно, к огромному удивлению Лёли, я починил ей кран на кухне принесёнными из дома инструментами отца.

Я стал бывать у Лёли каждую неделю.

Довольно быстро я начал обращаться к ней на «ты».

Приходил с прочитанной книгой и говорил: «Здравствуй, Лёля. Я возвращаю тебе то, что взял у тебя в прошлый раз». Это звучало как пароль. Мне это нравилось.

Я читал огромное количество книг.

Книги были напечатаны на тоненьких, прозрачных листах бумаги и сшиты в увесистые тома. «Приглашение на казнь» и «Дар» Набокова; «Собачье сердце» и «Роковые яйца» Булгакова; «Москва-Петушки» Венички Ерофеева (перепечатка с парижского издания 1977 года); громадный том Мандельштама.

Кроме самиздата были и книги «тамиздата», например, альманах «Метрополь», выпущенный в Америке издательством «Ардис». Некоторые из этих книги были в старой орфографии, хранили свою исходную, утерянную теперь магию.

Часто я видел у Лёли блоки иностранных сигарет (сама она не курила), яркие заграничные пакеты, наполненные каким-то содержимым, какие-то каталоги, картонные коробки с иностранными бутылками внутри. И сама Лёля одевалась во всё модное, заграничное.

Я не задавал лишних вопросов.

Лёля учила меня старым ленинградским правилам:

— Запомни, Лёня, интеллигентный мужчина никогда не приходит в дом к женщине без цветов.

И в следующий раз я пришёл с цветами.

Лёля меня отчитала:

— Лёничка, дорогой! Я учу тебя общению не со мной, а с другими женщинами: с теми, которых ты ещё будешь встречать в своей жизни. Мне носить цветы необязательно.

И бережно поставила цветы в вазу.

По тому, как женщина ставит цветы в вазу, всегда можно понять, нужно ли ей приносить цветы в следующий раз.

Я приносил ей цветы: розы, гвоздики, мимозы. Я сэкономил деньги, и по дороге из института заезжал на Кузнечный рынок: я до сих пор помню запахи этого рынка, этого яркого, недоступного изобилия посреди серого однообразия жизни.

Лёля мило говорила «merci» и бережно ставила цветы в вазу. Иногда в её доме уже просто не хватало ваз для моих цветов: предыдущие букеты ещё не успели осыпаться, а я уже нёс новые. Тогда Лёля ставила цветы в бутылки из-под молока.

— Ты очень галантный комсомолец, — шутила она.

Я всякий раз отмечал, что в её доме никогда не было никаких цветов, кроме моих.

Мы читали вслух стихи, и она рассказывала мне, кому они написаны. Так мы прочитали с ней цикл «Подруга» Цветаевой, и Лёля рассказала мне про Софию Парнок и про её любовь с Мариной.

Потом мы читали стихи самой Парнок.

— Как-то это странно, Лёля, когда женщина с женщиной.

— Просто ты ещё *глупый*, — смешно отвечала она. — Любовь не спрашивает ни пола, ни возраста.

Про возраст я уже начинал понимать.

Лёля рассказала мне про своих старых ленинградских знакомых, с которыми она общалась в шестидесятые и семидесятые годы. Оказывается, я совсем ничего не знал об этой тайной жизни города. О квартирных выступлениях поэтов, о спектаклях непризнанных гениев, о композиторах, произведения которых не играли по радио. Я ничего не знал и о Михнове-Войтенко — художнике, картины которого висели у Лёли на стенах комнаты: похоже, он был её близким другом. Она читала наизусть стихи Леонида Аронзона, Иосифа Бродского, Елены Шварц. Это всё были новые для меня имена. Как же я потом жалел, что мало расспрашивал Лёлю и почти ничего не запомнил из её рассказов.

Через много лет я жадно вчитывался в любую публикацию об этом времени; вглядывался в каждую фотографию в тщетной надежде узнать, увидеть там Лёлю.

Однажды я спросил её про «Окаенные дни».

— Неужели это всё было так ужасно? Неужели нам всем так врут? Почему же мы молчим?

Она ответила не сразу. Пауза получилась длиннее, чем обычно. Я даже успел пожалеть о том, что задал эти вопросы.

— Лёничка дорогой, — наконец ответила она, — мы живём в ужасном мире тотального обмана. Человеку очень важно понимать, где он живёт. Когда-нибудь это всё перестанет быть тайной, но пока тебе лучше читать, думать и помалкивать в тряпочку. Но со всякими партийцами никогда не общайся, не дружи: они все либо сволочи, либо дураки.

— Либо, дураки и сволочи одновременно?

— О! Эти самые страшные.

— А ты думаешь, что это всё когда-нибудь закончится?

— Конечно, Лёня! Всё проходит. Пройдёт и это.

Она сняла с пальца серебряное кольцо, протянула его мне. Я почти машинально взял его в руки.

Кольцо было тяжёлым, с красивым ободком и надписью еврейскими буквами: я видел такие же буквы на старых могильных камнях Еврейского кладбища,

когда мы с мамой навещали могилу бабушки. Буквы шли по кругу и были выпуклыми. Пространство между буквами казалось темнее самих букв. Не знаю, почему — видимо, потому что буквы напомнили мне о кладбище и потому, что надпись шла по всему кругу кольца, — оно вызвало непривычные для меня мысли о смерти, но и о вечности тоже. Впрочем, эти понятия как-то связаны.

— Представляю, какое это старинное и дорогое кольцо. Что здесь написано?

— Нет, Лёня. Это не дорогое кольцо, хотя и серебряное. И совсем не старинное. Мне это колечко привёз один знакомый: он купил его у продавцов сувениров в Яффо. Знаешь где это?

Я не знал.

— Это древний город в Израиле, на побережье. Рядом с Тель-Авивом. Там есть большой рынок — настоящий восточный базар, как в сказках. Один мой знакомый — американец — привёз мне оттуда это колечко в подарок. Смотри. Тут написано на древнееврейском «Всё проходит. Пройдёт и это». Как я тебе и сказала. Такое же кольцо было у царя Соломона.

Она протянула мне правую ладонь, и я аккуратно, бережно надел кольцо на её безымянный палец — как это делают женихи и невесты на свадьбах.

— Merci, — улыбнулась Лёля. — Ты всё-таки очень галантный, не по годам и не ко времени.

«Всё проходит. Пройдёт и это». Я задумался. Мне не хотелось верить, что всё проходит. В семнадцать лет в это трудно поверить. И потом, разве человеческое стремление к счастью проходит? Человек хочет быть счастливым до самой своей последней минуты. Понятно, что это тоже пройдёт — уйдёт со смертью человека. Но узнает ли он сам об этом? Успеет ли узнать?

Знает ли человек, что он умер?

7.

Лёля редко играла мне на пианино. Я заметил потом, общаясь с другими учителями музыки, что они редко играют сами. Но Лёля занималась со мной музыкой. Она показала мне, как быстро научиться импровизировать во всех тональностях. И через три-четыре недели я уже легко это делал.

— Чёрт догадал тебя, Лёничка, родиться в России с душою и с талантом! — шутила Лёля.

У меня дома были ноты «Хорошо темперированного клавира». Сразу после окончания музыкальной школы я пытался сам разбирать что-то из этого сборника. Но мне всегда было лень. Занятия быстро надоедали: обычно находилось что-то ещё, чем было гораздо интереснее заниматься. Сейчас же мне захотелось произвести впечатление на Лёлю. Я часами сидел дома за инструментом, пытаюсь свести вместе левую и правую руки. На скрипке всё было понятно и просто: левая рука играла, а правая водила смычком. На фортепиано всё было куда сложнее, и мой мозг просто физически перегревался, пытаюсь управлять пальцами обеих

рук на клавиатуре. Мне было легче играть «на слух» — тем более, что я понимал логику гармонии и знал, что «должно быть» в левой руке, когда я играю правой.

Мы обсуждали это с Лёлей, и она показывала мне разные упражнения и приёмы, которые мне очень помогали.

В дополнение к занятиям фортепиано, я снова стал играть на скрипке, для чего достал с антресолей забытый там инструмент, нашёл где-то в глубинах книжного шкафа клавир Ля-минорного Концерта Баха — того самого, который я играл на выпускном экзамене — и начал вспоминать то, что успел забыть за эти пару лет. Играть на скрипке было гораздо сподручнее и проще. Я довольно быстро всё наверстал и был вполне доволен собой.

Однажды я пришёл к Лёле, и она, сняв со спинки стула новые джинсы, сказала мне: «Примерь. Кажется, это твой размер».

Я заскочил в ванную комнату. Примерил. Джинсы сидели как влитые.

— Ой, как я рада, что тебе подошло! Носи на здоровье!

— Лёля, я не могу это принять. Это ведь очень дорого стоит — это настоящий Levi's!

— Бери. Мне они достались недорого. У меня крутятся разные шмотки. Вот увидела и подумала, что тебе подойдут. И не ошиблась!

Был и другой случай, когда Лёля развернула передо мной длинный, мягкий шарф лазурного цвета с заграничным ценником, аккуратно свернула и положила его в красивый пакет:

— Вот, подари своей маме. Под цвет её глаз. К тому же вещь хорошая — ей сносует не будет. Мама обрадуется.

Мама и правда обрадовалась.

В мае мне исполнилось восемнадцать.

Лёля подарила мне заграничный альбом Жака Лузье с джазовыми обработками произведений Баха.

В июне город наполнился неповторимой смесью ленинградских запахов: сирени и корюшки. Я много ходил по городу пешком, запоминая проходные дворики-колодцы, малоизвестные скверики, потаённые места, с которых открывался особенно красивый вид.

Город воды и времени — ведь вода и время в каком-то глубинном смысле синонимы. И вода, и время, равнодушно нахлынув, поглощали в свой черёд этот город, унося с собою надежды, несбывшиеся мечты, человеческие жизни. Всё это было в веках прежде нас, а теперь вот и нам досталось это горькое наследство.

8.

Где-то в июле мамина знакомая привезла нам с дачи целое ведёрко чёрной смородины.



Мама перетирала ягоды с сахаром огромной деревянной ложкой в большом чане и раскладывала по банкам, закрыв их тетрадными листочками с резиночкой. Потом всю зиму мы ели это вместо варенья. Мама называла эти перетёртые с сахаром ягоды «витамин». Пока мама готовила «витамин» и отвлеклась на какой-то телефонный разговор, я отсыпал ещё не протёртые ягоды в большую алюминиевую миску и припрятал в своей комнате. Наверное, я мог бы просто попросить ягоды у мамы, но мне именно захотелось сделать это тайно: не знаю, почему.

На следующий день я отвёз ягоды Лёле.

Обычно, когда я приходил к Лёле, она была одета очень нарядно. Но в этот раз на ней было простое домашнее платье.

— Прости, Лёничка, — сказала она, открывая дверь, — у меня немного поменялись планы: мне нужно поехать по делам. Ты заходи на полчаса, а потом я буду собираться.

Мне было приятно видеть её в домашнем платье — я почувствовал в этом какой-то новый уровень доверия между нами. Возможно, я тогда слишком пристально анализировал то, что происходило в моей жизни.

Я вернул книгу, которую брал ранее, подарил Лёле очередной букет, протянул миску с ягодами:

— Лёля, пересыпь куда-нибудь ягоды, а то мать хватится миски и подумает, что нас обокрали и взяли у неё самое ценное.

— Ты никогда не говорил, что у вас есть дача.

— Нет. К сожалению, ни дачи, ни машины у нас нет. Эта смородина с дачи маминой подруги. Как там в «Песне Песней»? Помнишь? «Братья поставили меня сторожить их виноградники, а своего виноградника у меня не было». Как-то так, вроде бы.

— Ну как-то так, да, — она улыбнулась доброй снисходительной улыбкой. — Заноси всё это на кухню.

Мы пошли на кухню. Лёля долго соображала, куда бы пересыпать ягоды, с удивлением нашла, наконец, у себя какую-то кастрюлю, и, сказав своё милое «merci», взяла миску из моих рук.

И тут случилась неловкость: миска выскользнула из наших пальцев и с алюминиевым грохотом упала, а ягоды рассыпались по всему полу.

— Чёрт! Ну надо же! Чёрт!

Мы оба встали на четвереньки и начали собирать ягоды с пола.

И вот, в какой-то момент получилось так, что мы оказались друг напротив друга: голова к голове. И сквозь открытый ворот её домашнего платья я увидел всё её тело, увидел очень близко и откровенно: голую грудь, живот, сжатые белыми трусиками бёдра — всё.

В десятом классе у меня были недолгие отношения с одноклассницей. Несколько раз, когда родителей не было дома, одноклассница приходила ко мне — вуль-

гарная, грубая. Она была совсем некрасива, но она была сговорчива. Я помнил её тело.

Теперь я с удивлением увидел, что тело этой немолодой женщины, вне всякого сомнения, прекраснее, соблазнительнее. Что нет для меня ничего более желанного, чем это тело. Я смотрел и не мог оторваться. Совсем не мог оторваться, как полоумный.

Она перехватила мой взгляд, вспыхнула, быстро поднялась, как-то машинально прикрыла ворот на шее. Она стояла неподвижно, будто внезапно окаменела тут, посреди этой россыпи чёрной смородины.

Я тоже встал и неловко дотронулся до её запястья, как будто хотел убрать её руку, выпрямить её. Это получилось помимо моей воли, совершенно машинально. Она вырвала руку из-под моей руки. Мы стояли так, в этом неловком положении на кухне, усыпанной чёрной смородиной, в этой нелепой немой сцене. Лёля сделала шаг назад, отвернулась от меня, опустила голову.

— Лёня, — сказала она тихим, но решительным голосом, — тебе сейчас лучше уйти. Я хочу остаться одна.

Я молча подобрал с пола все ягоды, поставил кастрюлю на стол и ушёл.

Мы никогда не обсуждали этот случай, но мы оба знали, что он был.

9.

В конце октября у Лёли был день рождения. Ей исполнилось сорок.

Я приехал к ней домой с фруктовым тортиком, большим букетом алых роз и с шампанским; вернул ей какие-то книги и, немного смущаясь, сказал:

— У меня для тебя сюрприз. Садись, слушай.

И я сыграл *Für Elise* Бетховена — несложную вещь, которую я сам в тайне разобрал по нотам и выучил специально к этому дню.

Лёля была очень довольна. Попросила меня снова сыграть, села рядом и поправила некоторые мои ошибки.

— Я же говорила, что ты талантливый. Тебе нужно заниматься.

— Лёля, ну а что тут в *Für Elise* играть? Всё просто, всё в ля-миноре — и всё крутится вокруг гармонии бардовской песни.

— Именно, именно, мой дорогой! Бетховену ничего не нужно было самому себе доказывать. Это очень важно. Очень. Как я рада, что ты это уже начинаешь понимать.

Но тогда я ещё не понимал, о чём она говорит.

Мы сели за стол. Лёля приготовила что-то, но она и правда не умела готовить.

— Ты когда-нибудь пил немецкий рислинг? — спросила она.

— Нет, а что это? Что-то кислое?

— Наоборот! Давай попробуем! Мне из Кёльна бутылочку привезли. Там в Кёльне невероятной красоты Собор.

Я открыл узкую длинную бутылку, разлил по бокалам:

— За твоё здоровье!

— И за удачу!

Мне уже нужно было уходить, но Лёля неожиданно задержала меня в прихожей:

— Лёнь, ты можешь сегодня остаться ночевать у меня. В смысле остаться со мной на ночь... Господи! — сказала она скороговоркой, — я, наверное, опять совершаю какую-то очередную глупость, но мы ведь не знаем, что нас ждёт в этой жизни, верно? Люди перед смертью всегда жалеют не о том, что они сделали, а о том, чего не сделали.

Она помолчала и тихо добавила:

— Останешься?..

У меня потемнело в глазах. Так всегда пишут, но я действительно почувствовал, что стал хуже видеть. Я неловко обнял её за талию одной рукой, прижал к себе, пытаюсь поцеловать.

— Нет-нет. Не торопись. Пожалуйста, не торопись. Не спугни меня. Подожди, я приготовлю ванну и позову тебя. А ты пока спустишься и позвони родителям, чтобы не волновались. Телефон прямо напротив дома. Вот, возьми ключ — откроешь дверь, когда вернёшься. У тебя есть двушка?

Я быстро сбегал к телефону, сказал маме, что ночую у друга. По-хозяйски повернул ключ в замке, вошёл в квартиру.

Сердце колотилось в висках так, будто я нацепил наушники с дурацким диском и врубил их на полную громкость. Я начал ходить из угла в угол, пытаюсь справиться с волнением. Налил на кухне в чашку тёплой воды из чайника. Сделал несколько больших глотков. Меня почти мутило.

— Всё готово, Лёня.

Я зашёл в ванную комнату. Ванна была наполнена пеной и в этой пене, как мифическая богиня, грациозно возлежала Лёля — укрывшись пеной так, что были видны только голова, плечи и одно колено.

— Ты раздевайся. Я не буду смотреть. А потом ложись ко мне. И не думай ни о чём. Не волнуйся. Самое главное, не волнуйся.

Обычно, когда просят не волноваться, волнуешься ещё больше.

Я кивнул и начал раздеваться. Как загипнотизированный, я разделся, уже ощущая невероятное возбуждение, лёг в ванну рядом с Лёлей, вытянув ноги вдоль её тела. Я погрузился в ванну, зацепив носом и подбородком душистую пену.

Она нашла мою правую руку, подтянула её к себе и сказала сбивающейся скороговоркой, почти шёпотом:

— Я научу тебя делать женщин счастливыми. Но запомни: счастье женщины в любви, а любовь женщины находится в её голове — а значит, и её счастье находится там же. Пока женщина не выпустит тебя в свою голову, она не выпустит

тебя ни в своё сердце, ни куда-то ещё. Это простая истина. И ещё. Будь деликатным, не спугни грубостью или неловкостью этот удивительный момент, когда женщина готова принадлежать только одному тебе. Не дай ей повода передумать или пожалеть о своём решении. Ты чуткий. Ты всё должен сам понять. Но я тебе немного помогу.

Она взяла мою руку.

— Расслабь кисть. Да, вот так. Так, как я тебя учила. Теперь прикоснись пальцем к своему носу, который, кстати, у тебя весь в пене. Вот этим, да. Очень мягко, аккуратно прикоснись. А теперь вот сюда. Представь, что это ре-диез в *Für Elise*, и ты хочешь взять эту ноту, но пока не решился. Ты нашёл клавишу и сейчас извлечёшь из неё звук...

Мы продолжали встречаться каждую неделю.

Я теперь часто звонил домой и говорил, что ночую у друзей.

10.

Лёля лежала на моём плече. Было тихо и спокойно. Да, именно спокойно — как никогда ещё не было в жизни.

— Лёля, какое у тебя полное имя?

— Элеонора.

— Как Элеонора Ригби у Битлз?

— Да. И я тоже одинокая человека, как в песне поётся.

— Ты не одинокая человека, Элеонора Ригби! У тебя есть я.

11.

Однажды, где-то в самом начале ноября, Лёля показала мне почтовую открытку с видом на белый город и золочёный круглый купол. Это была открытка из Иерусалима.

— Вот, подруга прислала. Мы вместе в консерватории учились. Она в мае прошлого года уехала в Израиль и уже полгода как устроилась там на работу в дом для стариков. Работает музыкальным терапевтом. Может, тоже уехать? Ты бы уехал, Лёня?

— Я не могу, — почему-то начал оправдываться я. — У меня оба родителя на секретной работе. Их никогда не выпустят. А я их не брошу. К тому же они у меня вполне себе советские люди.

— Ну это понятно, да. Это как раз очень понятно.

— А ты что, хочешь поехать... со мной?

— Да нет, дурачок! Я же не конкретно говорю. Я в принципе говорю. Да и не выпускают никого опять. Может, когда-нибудь уеду. Есть куда.

— А город?

— Что, Лёничка?

— Город. Как же бросить этот город, с его наводнениями, болотами, осенней тоской, серым небом. Как же он без нас?

Я улыбнулся, услышав сам себя: получилось немного наивно и киношно.

— Эх, Лёня, — не обращая внимания на мою улыбку печально и серьёзно отозвалась Лёля, — я знала столько прекрасных, умных, талантливых людей, исчезновение которых этот город сумел пережить, что наше с тобой отсутствие он даже и не заметит, поверь мне.

Больше мы эту тему не поднимали.

12.

Седьмого ноября весь наш институт со всем остальным советским народом пошёл на демонстрацию. Нам раздали портреты членов Политбюро на деревянных палочках. Из динамиков на улице доносились суровые праздничные песни.

Все были веселы. Все наши парни и некоторые из девочек иногда забегали в ближайшие подворотни, чтобы тайком хлебнуть водки. Я тоже принимал в этом участие.

Мы шли по праздничным улицам и проспектам города — все вместе шли к Дворцовой площади. Флаги, транспаранты, воздушные шары, дети на плечах родителей. Радость — всеобщая радость — вселилась и в моё сердце. Я ощущал её, мне было хорошо.

И вдруг невероятная тоска навалилась на меня, почти придавила. Я даже оглянулся вокруг, чтобы понять, откуда она пришла. Но эта тоска шла изнутри. Как будто какой-то внутренний камертон зазвучал во мне, указывая на то, что всё вокруг фальшивое. Я ощутил себя совершенно чужим среди этих людей. Всех этих тысяч и тысяч людей вокруг меня. Чужим даже среди тех, кого я называл своими друзьями. Что я делаю среди них? Какое я имею к ним отношение? Какое отношение они имеют ко мне? Как можно праздновать годовщину величайшей трагедии своего собственного народа? Как можно радоваться, пить водку, нести портреты этих упырей — прямых наследников тех страшных злодеев, которые виновны в событиях, описанных у Бунина в «Окаянных днях»?

Мы приближались к Дворцовой площади. Вот уже можно было разглядеть трибуну и людей на ней. И в самом центре, среди остальных одинаковых людей в пальто — нелепого карлика в пыжиковой шапке: микроскопического на фоне огромных портретов трёх главных теоретиков этого кошмара.

— Поднимите выше морды лица, — прокричал Клоп, и все подняли портреты высоко над головами.

— Ура! Ура, товарищи! Урааааа!

Я посмотрел на портрет на палке в своей руке. Какой-то сморщенный старик со злыми узенькими глазками смотрел на толпу из-под стекла, как музейный уродец, как экспонат кунсткамеры, как иллюстрация к неумной и страшной сказке.

— Ура! Ура, товарищи! Урааааа!

Потом мы сдавали портреты организаторам нашей колонны.

Клоп ставил их один к одному — деревянными черенками кверху — как будто составлял из этих портретов странный карточный домик.

Но эта колода карт уже отыграла свой век, растеряла всех своих козырей, потеряла смысл.

Зачем я участвую в этом и как мне избежать этой участи? Я никогда не задавался такими вопросами, но теперь они мучали меня. Что делать мне с этой несвободой? Бороться ли с ней или просто смириться?

Я захотел поговорить об этом с Лёлей. Она ведь совершенно очевидно должна испытывать те же чувства, что и я.

Я спросил её об этом.

— Тут вот ведь как, Лёня, — ответила она. — Абсолютной свободы всё равно нет. Я попыталась сделать себе жизнь, в которой я, вроде бы, абсолютно свободна: я ношу то, что хочу; я читаю то, что хочу; я слушаю ту музыку, которую я хочу слушать.

Она помолчала, задумалась:

— Вот я называю себя училкой, а ведь я давно никого не учу. Я не хочу никаких учеников. Не хочу подчиняться каким-то методикам и не хочу никаких учеников у себя дома. Я хочу, чтобы мой дом был только для меня и для тех, кто мне интересен. Я делаю неплохие деньги, потому что у меня варит голова, есть нужные знакомые и я неплохо знаю пару-тройку европейских языков.

Я удивился. Я не знал этого.

Лёля встала, подошла к окну, посмотрела в темноту осеннего Петергофа и плотнее задёрнула шторы, как будто увидела за окном соглядатая.

— Ты не знаешь об этом, но я вынуждена два раза в неделю ездить в клуб одной швейной фабрики, где я аккомпанирую любительскому хору. Это моя единственная официальная работа. И представляешь, что они там поют, эти швей-мотористки? «Верность партии нашей я в душе берегу — я и думать иначе, чем она не могу!» Они вот это поют, а я стучу по клавишам, как дура. А почему, Лёня? А потому, что я не могу не работать. Это у нас, мой дорогой, запрещено. Кстати, знаешь, почему эти работницы поют про партию нашу замечательную? Думаешь им нравится это петь? Нет, им это тоже не нравится. Но за это им позволяют петь «Ave Verum» Моцарта, да ещё и на латыни. И вот это им нравится. Очень нравится.

Она снова помолчала.

— И так повсюду, Лёня. А ты думаешь в какой-нибудь Америке иначе? Нет, мой дорогой! Даже самые богатые там люди должны сто раз подумать, прежде чем что-то сказать или сделать. Там свои правила, своя игра. У меня есть здесь много друзей, живущих так же, как я. Это называется внутренняя эмиграция. Но все они в какой-то степени всё равно несвободны. Ведь всё зависит от степени несвободы, Лёничка. Выбери такую, которая устраивает тебя, и будь свободен настолько, насколько сможешь. Вот видишь, поляки не захотели жить той жизнью,

которую им навязывали, и создали «Солидарность», отстаивают свою свободу. Это ведь тоже способ. Было бы у нас такое, я была бы с ними. Но у нас такого нет.

Она надолго замолчала, но я знал, что не нужно пока ничего говорить.

— Человек, Лёня, он как луговая трава на ветру. Когда сильный ветер, травинки гнутся к самой земле. А когда ветра нет, травинки тянутся прямо к солнцу. Но трава всегда остаётся травой. Ну, а ветры, Лёня, покружатся, покружатся — и вернутся на круги свои.

Поэтому нужно просто жить и верить, что всё будет хорошо. Помнишь, как у Екклесиаста? Мы с тобой читали: «Пока не порвалась серебряная цепочка и не расколослась золотая чаша, пока не разбился кувшин у источника и не обрушилось колесо над колодцем». Вот такая тебе притча о свободе, мой дорогой.

— По-твоему, выходит, Лёля, что у нормального человека ничего не выходит — и выхода нет, — иронично покачал головой я.

— Выходит так, Лёня. Но мы скажем «нет» суете и томлению духа, и будем жить. Просто нужно идти своей дорогой, Лёничка. Найти её и идти. И ничего не бояться. И слышать чистое «ля» в своей голове, как ты умеешь. Это тоже помогает.

Через пару недель в Польше объявили военное положение, на улицах городов были танки, свобода, едва начавшись, закончилась.

13.

Приближался Новый год.

Напротив Лёлиного дома снова залили каток. Повесили яркие разноцветные лампочки. Даже музыка какая-то играла.

Мне пришла в голову идея. Я незаметно проверил размер Лёлиных сапожек, стоящих в прихожей и, с трудом разувая, где можно взять в прокат коньки на пару дней, раздобыл нам две пары коньков: хоккейки и фигурки.

В большой дорожной сумке через плечо я привёз коньки к Лёле и с трудом уговорил её пойти покататься.

— Лёничка! Ты с ума сошёл! А если я упаду и сломаю руку? Знаешь, когда я в последний раз каталась на коньках?

— Ещё до войны? — съехидничал я.

— Я тебя когда-нибудь прибью, Лёнька! — рассмеялась она.

Наконец, она сдалась, и мы спустились вниз. Лёля села на скамейку, и я заботливо помог ей надеть коньки, завязал шнурки, поправил шерстяные носки на её тонких щиколотках.

— Лёнь! А вот соседи увидят — что я им скажу?

— А ты будь свободной, как сама учила. Подумаешь, соседи! Скажешь, что я твой племянник из Гомеля.

— Почему из Гомеля?

— Ну из Нью-Йорка, какая разница?

Мы неловко вышли на лёд и, смеясь — держась друг за друга — немного потоптались на льду. И вдруг поехали — плавно, легко. Мы даже попытались подстроиться под звуки музыки, чтобы получилось некое подобие танца на льду. И у нас получилось. И было здорово.

В какой-то момент мы, конечно, оба упали: не больно, смешно. Мы упали, растянувшись на льду, пытаясь подняться и снова падая.

Наверху я приготовил Лёле и себе какао. Протянул ей чашку и услышал неизменное и милое «Merci».

Мне кажется, я умел делать её счастливой.

14.

— Лёля...

— Да, мой дорогой.

— А в чём смысл жизни?

— Дурачок.

Она улыбнулась. Я не видел этого в темноте, но я знал, что она улыбнулась.

— Нет, ну правда?

Она отыскала мою руку — ладонь в ладонь — как будто мы не лежим рядом, а прогуливаемся по аллее пустого парка. Прижалась головой к моему плечу.

— Когда-то очень давно, когда мне было чуть меньше, чем тебе сейчас, я сделала одну ужасную глупость, из-за которой у меня никогда не могло быть детей. Когда я об этом узнала — я решила, что нет смысла жить. В моём тогда понимании смысл жизни был в семье, в детях. Довольно стандартно для девочки, поверь мне.

Она помолчала, не выпуская мою ладонь из своей. Мы как будто сделали ещё несколько шагов по аллее, но молча. Я понимал, что ничего не нужно говорить, и она продолжила:

— Я решила, что буду учить детей музыке. Чужих детей. Я не смогу продолжаться в своих детях, но никто не мешает мне остаться в чужих. Так я думала. Ты был когда-нибудь на похоронах хорошего учителя? Это удивительное зрелище: совсем юные мальчики и девочки скорбят так, будто они осиротели. И они действительно осиротели. Да, я хотела быть учителем музыки. И стала. И мне это нравилось, Леня. Но когда мой первый ученик вырос: и сам по себе, и как музыкант — он продолжил учиться у других учителей. И стал известным пианистом, профессором музыки, и во всех интервью вспоминает теперь своих других учителей и никогда не говорит обо мне. Не потому, что он плохой или неблагодарный. А потому что объективно они дали ему больше, чем я. Потому, что я не смогла стать учителем, на похоронах которого рыдают ученики. Впрочем, мы только показываем своим ученикам нужное направление. Всё остальное — их дело. И вот я думаю теперь, что смысл жизни — быть кем-то особенным, не таким как все. Просто жить и быть непохожим на других. Быть собой. Найти свой внутренний камертон. Мы уже говорили с тобой об этом. Что-то, что будет тво-



им «ля», под которое ты сможешь подстраивать каждое мгновение своей жизни, чтобы не сфальшивить. И это очень непросто, Лёня.

Мы как будто дошли до конца аллеи, и наш воображаемый парк закончился дорогой и автобусной остановкой, на которой какие-то хмурые люди молча стояли, плотно прижавшись друг к другу.

Я поднёс ладонь Лёли к своим губам. Поцеловал.

— Он всё равно знает, что ты была его первой учительницей. Ты всё равно навсегда осталась с ним, Лёля. Он твоё продолжение. И все его ученики тоже.

— Merci, — прошептала она в темноте.

15.

Новый год Лёля встречала со своими друзьями. А я со своими. Меня это расстроило: это ведь не только Новый год, но и годовщина нашей встречи.

Мы договорились ровно в полночь думать друг о друге. Я думал о ней всю ночь.

Я всё-таки добрался до того дома, в котором должен был встретить прошлый Новый год. На этот раз Клоп подобрал меня в условленном месте, и мы все там собрались — полтора десятка мальчиков и девочек в большом пригородном доме.

В комнате стояла дровяная печь, и я — по городской своей глупости — мгновенно приложился к гофрированной трубе обеими ладонями, чтобы проверить, тёплая ли она. И сильно, а главное, очень обидно обжёг подушечки пальцев. Гитару я даже не расчехлил.

Моя бывшая любовь Ниночка сразу после полуночи ушла в другую комнату с одноклассником Андреем — и больше я их за всю ночь не видел.

Я выпил. Потом выпил ещё.

Когда все уgomонились и разошлись по комнатам двухэтажного дома, я остался один неприкаянный с Клопом. Клоп очень умело подбрасывал дрова в печку, а я ему помогал, выбирая брёвнышки из кучки дров бесчувственными пальцами. Мы разговорились. И как-то так пошёл у нас разговор, что я поделился с ним чем-то важным для меня: очень искренне и с жаром, как бывает у подвыпивших людей, когда им кажется, что они, наконец, нашли внимательного и чуткого собеседника.

Я потом не мог вспомнить, что я говорил, но точно упоминал «Окаянные дни» и ругал никому не нужную войну в Афганистане, на которой уже успел умереть непонятно за что мой школьный приятель Булька. И, как мне кажется, я упомянул несколько раз Лёлю — что вот есть другие люди, настоящие. Люди, за которых не стыдно.

Клоп слушал, не спорил.

— Эх, Лёня! — как бы подвёл он итог после того, как я замолчал. — Попал ты под тлетворное влияние Запада. Сильно попал. Но ничего. Это дело исправимое. Исправим! Устраним!

И я не знал, шутит ли он, или говорит это серьёзно.

Уже на обратном пути, стиснутый посередине заднего сидения двумя одноклассниками, я увидел его глаза в зеркале заднего вида, и понял — с холодящим ужасом под сердцем — что, возможно, сказал ему очень много лишнего.

16.

Где-то после Нового года, когда подушечки моих обожжённых пальцев снова обрели чувствительность, я приехал к Лёле со скрипкой. Привёз с собой клавир Концерта Баха. Раскрыл фуляр, подстроил скрипку, наканифолил смычок, залихватски, как Чапаев шашкой, рубанув пару раз смычком воздух, стряхивая лишнюю канифоль.

— Это что-то новенькое, — сказала Лёля.

— Новенькое — это хорошо забытое старенькое, Элеонора Ригби. Сейчас мы с тобой будем вместе играть Баха. Готова?

— Да запросто! Что мы играем?

— Первую часть Ля-минорного Концерта для скрипки с оркестром. Я буду скрипкой, а ты как бы оркестром. Вот у меня клавир. Сможешь с листа?

— Глупый вопрос, Лёничка. Ставь ноты.

— Смотри. Нужно договориться о темпе. У Баха, на самом деле, темп не проставлен. Все играют очень быстро и убивают музыку. Мы будем играть гораздо медленнее. Вот так: «Там-там. Там-там. Там-та-та-та. Там-та-та-та. Там-та-та!» Чеканно, понимаешь?

— Хм. Интересная мысль. Давай попробуем.

И мы начали играть. И отыграли всё до конца, ни разу не сбившись. Отыграли так, что хоть сейчас записывай на пластинку.

— Эх, — выдохнула Лёля, — это было просто потрясающе! Это было лучше, чем секс!

— Так... Интересно... Тебе не нравится секс со мной? — я по-хозяйски притянул Лёлю к себе. Сжал, стиснул.

— Ой, пусть, пусть! Задушишь ведь. С ума сошёл? Отпусти сейчас же! Ну ты же ведь не пэтэушник! А вот в сексе, кстати, ты пока ещё дурак, — сказала она голосом обиженной пионерки, — но дурак обучаемый. До свадьбы научись.

— Училка фигова!

17.

— Ты любишь Макса Бруха? Ты, как скрипач, обязательно должен его любить.

— Я, как скрипач, знаю только один его Первый концерт для скрипки с оркестром.

— Тогда тебе будет интересно послушать вот это.

Лёля достала довольно скучно оформленную пластинку фирмы Angel с Шотландской фантазией и Вторым концертом Бруха в исполнении Ицхака Перлмана.

— Возьми, послушай. Мне недавно привезли из Англии. Это настоящее блаженство.

18.

В конце января в один из выходных дней я шёл по Невскому проспекту мимо Сайгона. Это кафе не было культовым местом для меня и моих знакомых. Мы с институтскими друзьями собирались в другом кафе — на Стремянной. Не знаю почему, но я зашёл внутрь. Как пишут в бульварных романах, что-то толкнуло меня сделать это.

В Сайгоне было как всегда тесно и многолюдно.

Среди этого скопления странных людей я вдруг увидел Лёлю. Она была там с двумя незнакомыми мне мужчинами. Оба — сильно заросшие — с большими чёрными бородами. Один был плотный и пузатый, а второй, наоборот, худой: с измождённым лицом и яркими глазами.

Оба незнакомца были инвалидами, калеками. Один из них был совсем без ног, в инвалидной коляске. Другой стоял на ногах, но как-то криво, опираясь на костыли или какие-то палки — я не успел рассмотреть.

Лёля была одета так же, как в прошлом году, когда мы познакомились в Новогоднюю ночь, только вместо меховой шапки у неё была белая вязаная шапочка, делавшая Лёлю похожей на моих сокурсниц.

Лёля не заметила меня, не увидела. А я стоял и смотрел на неё и её собеседников.

Сусанна и старцы. Мне почему-то было неприятно.

Вдруг худой обернулся в мою сторону и посмотрел мне в глаза цепким внимательным взглядом. Я как-то машинально кивнул ему, и он ответил мне едва заметным кивком.

Не знаю, почему, но мне стало совсем не по себе. Я вышел из Сайгона и побежал по Невскому проспекту: именно побежал, задевая людей и вызывая удивлённые взгляды прохожих. Я бежал *по потрясённой мостовой*, как пушкинский несчастный Евгений — как будто за мной и правда нёсся *Всадник Медный*. Я бежал и радовался — гадко и несправедливо. Радовался, что я могу бежать, а эти двое — нет. Мне было стыдно от этой мысли; стыдно, но вместе с тем, приятно. Я бежал долго, пока совсем не потерял дыхание. Остановился, обернулся назад и громко, как сумасшедший, рассмеялся.

Я не рассказал Лёле о том, что случайно видел её.

19.

Потом был февраль.

В один из моих февральских приездов всё было иначе. Куда-то пропали картины со стен. Исчезли все книги. Дверцы тумбочки под проигрывателем были раскрыты и внутри не было ни одной пластинки.

Я увидел это прямо с порога.

Что происходит? Я подумал, что Лёлю обокрали.

— Лёня, — сказала она, когда я огляделся, — у меня большие неприятности. Не спрашивай ничего. Только слушай, хорошо?

Конечно, я хотел её обо всём расспросить, но понял, что она сама скажет то, что посчитает нужным.

— Возможно, мы больше никогда не увидимся, не перебивай, пожалуйста, это важно. Зайди в комнату. Сядь.

Мы сели за стол в опустошённой, ставшей вдруг чужой комнате. На столе лежала пластинка Гульда — та самая, серо-голубая. Лёлина любимая.

Лёля сняла с пальца кольцо, положила его на ладонь, сжала в кулаке, потом раскрыла ладонь и протянула мне.

Я взял кольцо в руки.

— Что это, Лёля, зачем? — я ничего не понимал.

— Лёничка, — сказала она, — если мы больше никогда не увидимся, пусть это будет у тебя. На память. Обо мне.

— Лёля, Лёля! Ну что за мелодрама вдруг? Что случилось? Мы ведь увидимся, как всегда, через неделю! Перестань пожалуйста!

— Лёня, знай: ты очень хороший! Ты удивительный. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Я не должна была сближаться с тобой, но совсем не могла себе в этом отказать. Прости меня. Я, наверное, подвергла тебя напрасной опасности. Зная всё, что я знала, я не должна была этого делать. Если тебя спросят, я просто давала тебе уроки музыки. Ты занимался у меня год — раз в неделю. Говори только это. Ничего больше никому не говори. И не верь ничему, что будут говорить про меня. И будь счастлив, Лёничка. Пожалуйста, будь счастлив. И музыкой занимайся. Обязательно занимайся музыкой.

— Кому и зачем я должен что-то говорить? Какая опасность? Лёля! Дорогая моя! И что случилось тут? Тебя обворовали?

— Молчи, Лёня. Молчи сейчас, — она закрыла мне рот ладонью. Ты занимался у меня музыкой год — раз в неделю. Говори только это. Ничего больше никому не говори. Сможешь?

Я кивнул головой.

Она посмотрела мне в глаза, как бы пытаюсь понять, усвоил ли я то, что должен кому-то говорить, встала, взяла со стола пластинку Гульда.

— Возьми это. На память обо мне. Всё равно пропадёт. Остальное всё уже в надёжных руках.

— Но это твоя любимая, Лёля! Куда пропадёт? Каких руках? Да что с тобой?!

— Эх, Лёничка мой хороший! Милый мой, хороший, нежный мой мальчик! Я ничего этого не должна была делать. Я не должна была подвергать тебя опасности. Прости меня, мой дорогой, мой ласковый мальчик!

Я попытался что-то сказать, но она опять закрыла мне рот ладонью.

Убедившись, что я молчу, она убрала ладонь, поцеловала меня в губы.

— Всё! Иди! — приказала она.

— Мы обязательно ещё увидимся! На следующей неделе! Я верну тебе кольцо и пластинку. Что за глупость, Лёля!

— Хорошо, мой старомодный юноша. Если встретимся, вернёшь.

Она почти вытолкнула меня из квартиры.

20.

Через три дня её арестовали.

Мне сказал об этом незнакомый человек, опустив окно припаркованной машины, когда я пришёл к Лёле в следующий раз. Он сказал всё это скороговоркой, быстро закрыл окно и уехал.

Но я не поверил. Медленно, как бывает в гриппозном сне, я поднялся наверх с неизменным букетом цветов в руках и увидел, что Лёлина квартира опечатана. Запертая дверь показалась мне каким-то массивным надгробием. Что-то мёртвое, леденящее душу было в склепе лестничной клетки.

Я встал на колени и положил букет к самому порогу. Потом прижался лбом к дверной ручке и заплакал.

Около её дома всё было так же, как и в прошлый мой приезд; и знакомый ка-ток, и телефонная будка, и какое-то дерево, похожее на иву. Но без Лёли всё это казалось чужим и бессмысленным.

Меня никуда не вызывали. Меня никто не допрашивал. Я никому не был интересен. Несколько раз я ездил в Петергоф, но в окнах Лёлиной квартиры не горел свет. Один раз я снова поднялся к её квартире. Букета уже не было, и белая полоска с печатью тоже исчезла. Я постоял на лестничной площадке, спустился вниз. Где-то из какого-то окна доносилось фальшивое пение под гитару. «Всё пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет!» — с надрывом орали незнакомые пьяные люди.

Две мысли изводили меня. Первая — невероятно мучительная: виноват ли я в аресте Лёли? Мог ли мой новогодний разговор с Клопом быть причиной этой трагедии? Вторая мысль — неизвестность: где сейчас Лёля? Посадят ли её в тюрьму и надолго ли? Ну и вообще, что делать? Да. Стандартные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?» Я никак не мог этого понять.

21.

Я стал заглядывать в Сайгон снова и снова — в надежде встретить хотя бы одного из этих двух Лёлиных собеседников. Но их не было. Раз за разом я, теряя надежду, тщетно заходил в это шумное, наполненное странными людьми кафе.

Но вот однажды я увидел одного из них — худого, с палочками. Я подошёл поближе к нему, и он заметил меня и кивнул мне, как тогда. Я набрался смелости и обратился к нему:

— Простите, пожалуйста. Меня зовут Леонид. Я друг Лёли из Петергофа. Я знаю, что вы с ней знакомы.

Я сказал это и вспомнил Лёлин наказ никому ничего не говорить. Поэтому, довольно глупо сразу же добавил:

— Я брал у неё уроки музыки. Год. Я хочу знать, где она? Я хочу знать, можно ли ей написать. Мне это важно.

— Виктор, — протянул мне ладонь хромой, придерживая одну из палочек локтем, — Давайте выйдем на свежий воздух. Тут очень душно и шумно.

Мы вышли на Невский.

— Леонид вы сказали? Правильно? — начал Виктор медленно, чётко выговаривая каждое слово. — Послушайте мой добрый совет, Леонид: найдите себе другого учителя музыки. Уроки с вашим старым учителем у вас вряд ли скоро состоятся.

— Я бы хотел написать письмо...

— Это невозможно.

Он сказал так твёрдо, что я не решился продолжить разговор.

Я поблагодарил его и пошёл.

Я сделал пять-шесть шагов и обернулся.

Он стоял и смотрел мне вслед.

— Вы мне можете верить, Виктор!

Он молчал.

— Почему же вы мне не доверяете?! — зачем-то прокричал я.

— А вы мне доверяете? — тихо спросил он.

Я не знал, что ответить.

Он грустно улыбнулся.

— Передайте ей, что я люблю её! — снова закричал я. — Как-нибудь передайте! Я прошу вас!

Хромой покачал лохматой головой, ловко повернулся на палочках-костылях и поковылял обратно в душный зал кафе.

Уже в дверях он остановился, повернулся ко мне.

— Спекуляция, хранение валюты, распространение нелегальной литературы. Это надолго.

— Что же теперь делать?

— Помнить. И жить.

Я бесцельно бродил по улицам, не зная, что мне делать и как мне жить дальше. Где-то на Коломенской или на Свечном я, разогнавшись, прокатился по замёрзшей луже — как в детстве. Не рассчитал, упал, больно ударил ногу.

Прихрамывая, я дошёл до метро и поехал домой.

22.

Летом всех студентов нашего института как обычно послали в колхоз на картошку.

Клоп тоже был там. Мне очень хотелось спросить у него напрямую. Узнать. Мысль о моём возможном случайном предательстве изводила меня.

И вот, однажды вечером я увидел, что Клоп курит один возле колхозной бани. Я был довольно сильно пьян. Он тоже. Мы всё время там пили. Странное дело.

Я подошёл к нему.

— Ведь это ты, — сказал я Клопу. — Я знаю, что это ты — ты всё это подстроил. Всё из-за тебя! Я точно знаю это. Можешь не прятаться и не скрывать!

— А зачем же мне от тебя прятаться, Лёнчик? — спокойно сказал Клоп. — Кто ты? Ты никто. Хлюпик. Сопля. Дерьмо интеллигентское.

— Слушай меня! — я входил в раж. — Если я узнаю, что это ты настучал на неё, если я когда-нибудь это узнаю — я найду тебя, достану из-под земли и своими руками...

Я поднял руки с растопыренными пальцами, протянул их к нему. И тут, совершенно неожиданно Клоп ударил меня кулаком под дых — так, что я сложился пополам от боли и повалился в траву.

— Суки, — процедил Клоп. — Поганые суки. Как же я вас ненавижу! Ненавижу вас всех.

Он сплюнул в траву рядом со мной, рядом с тем местом, где я корчился от немой боли, и вдруг добавил с какой-то болезненной тоской в голосе:

— Вам ведь даже в голову не может прийти, что среди нас тоже могут быть порядочные люди...

Он сказал это и ушёл в темноту.

23.

В восемьдесят восьмом я уехал в Америку. Уехал совсем один.

Перед отъездом я снова долго бродил по городу. Было начало июня, ощущение чего-то нового, неизвестного, загадочного: заканчивался один этап моей жизни и начинался новый, совсем другой. Но было ещё и странное ощущение грядущего потопа: мне казалось, что я покидаю этот город перед самым его концом. Что с моим отъездом он исчезнет, перестанет быть. И тогда я вспомнил слова Лёли о тех, кто сделал этот шаг до меня, и понял, что и с моим исчезновением ничего не изменится. Со мной или без меня — точно так же будет крутиться колесо времени над каким-нибудь особенно глухим двором-колодцем.

И мне стало легче сделать этот шаг.

В первые же дни в Бостоне я купил в маленьком магазинчике на West Street красивый шёлковый шнурок, продел его через кольцо Лёли и носил на шее — низко, на уровне солнечного сплетения — всегда. Как талисман. Все эти годы.

И все эти годы — каждый день своей жизни — я нёс в себе страшную вину, избавиться от которой мне не помогли даже лучшие психологи.

Бостон, в пригороде которого я поселился, не показался мне чужим. Многие напоминало мне Ленинград: не внешняя даже схожесть, а какое-то внутреннее единство. Мосты повисли над водами, всадник застыл на коне, корабль — пред-

вестник революции — стоит у причала. А когда идёшь пешком из Кембриджа по Гарвардскому мосту, можно даже поверить, что выйдешь на Литейный.

Только в Бостоне всегда синее небо.

Где-то в конце 1993 года мама в телефонном разговоре со мной из Питера сказала, что встретила мою учительницу — Элеонору Михайловну, которую она не помнила, но которая передавала мне привет. Я очень удивился, и не сразу даже понял, что это был привет от Лёли.

Потом как-то совсем незаметно прошло больше двадцати лет жизни.

А в феврале 2015 года, получив важную информацию в одной из социальных сетей, я срочно — за две недели — собрался и прилетел из Бостона в Кёльн.

24.

Поезд прибыл в Mönchengladbach и я вышел в город. На автобусной остановке я показал адрес какому-то диспетчеру. Это была моя ошибка: нужно было просто взять такси.

Мне указали на автобус. Я поехал. В салоне были только люди из каких-то арабских стран. Они недоверчиво смотрели на меня: мрачные, суровые, чужие.

Через три остановки я понял, что еду не в ту сторону. Не знаю, как я это понял, но я понял это со всей очевидностью. Я вышел: с цветами, бутылкой в пакете и ещё одним пакетом, который был у меня с собой. Попытался остановить такси, но безуспешно.

После тридцати минут лёгкой паники я, наконец взял такси и приехал в какой-то район, полностью застроенный такими же низкими послевоенными кирпичными постройками, как и в Петергофе. Таксист — на плохом английском — пояснил, что это где-то тут. Я поверил.

Прямо передо мной оказался американский магазин Staples. Почему-то это меня порадовало. Рядом с этим американским гигантом стоял маленький хозяйственный магазин. Я зашёл в него и показал человеку за прилавком бумагу с адресом. Он указал мне на дом через дорогу.

Я перешёл дорогу, вошёл в дом, нашёл квартиру на третьем этаже без лифта.

Звонок не работал. Я постучал в дверь.

Она открыла. Охнула. Мы крепко обняли друг друга.

— Лёня! Здравствуй, мой хороший! — сказала она.

— Здравствуй, Лёля. Я возвращаю тебе то, что взял у тебя в прошлый раз.

Я притянул к себе её правую руку, положил Лёлину ладонь на свою, достал из кармана куртки кольцо и аккуратно, бережно надел его на её безымянный палец. Всю дорогу я думал об этом моменте. Что, если кольцо больше не подходит? Столько лет прошло. Что делать тогда? У меня не было плана. Но кольцо подошло: Лёлины пальцы остались такими же, какими они были тогда, много лет назад.

— Merci, — одними губами прошептала она сквозь слёзы.



Когда люди не видели друг друга много лет и вдруг встретились, есть несколько очень странных секунд узнавания. Всякий, кому была суждена долгая разлука и внезапная встреча с близким человеком, знает эти несколько секунд.

Вглядываясь, мы видим в новом теперь человеке утерянные черты прежнего. И, постепенно находя их, больше не замечаем разницы. Всего несколько секунд, и родной человек превращается из внезапно чужого в привычно близкого — в того, которого мы запомнили, которого мы не забыли, по которому мы скучали. Глаза, разумеется, видят перемену, произошедшую за эти годы с человеком, но сердце, душа принимают его целиком, замещают нового прежним — так, будто бы и не было этих долгих десятилетий разлуки. Я только лишь переступил порог нового жилища Лёли, а она уже снова стала для меня той же Лёлей, что и раньше.

Войдя в прихожую, я достал серовато-голубой альбом Гульда из пластикового пакета.

— Смотри, Лёля, это твоя любимая пластинка. Я её сохранил. И не только её! Посмотри: я ни разу не доставал диск из конверта. Это первый раз.

Я аккуратно вытащил пластинку из конверта, и держа её обеими ладонями за края, повернул к свету.

— Видишь эту пыль? Это пыль нашего старого времени, пыль нашей прежней жизни — и она тут, с музыкой Баха, с Гульдом. Она всё ещё здесь. Я привёз тебе наше время. Пусть в виде праха, пусть в виде пыли — но привёз, вернул этот круг на круги своя.

— Лёничка, ты стал седым — и это заметно — но совсем не изменился. И это тоже очень заметно. Проходи же скорее в комнату, не стой в прихожей.

25.

Пока Лёля, покачивая головой и причитая по поводу прекрасных роз, которые я принёс, ставила букет в вазу, я окинул взглядом квартиру. Совсем маленькая по американским меркам: просто комнатка с кухонькой. Но светлая, уютная.

Станным, непостижимым образом, Лёлина немецкая квартира показалась мне очень ленинградской: ещё более ленинградской, чем старая квартира в Петергофе. Здесь тоже повсюду были книги, но из-за того, что места было меньше, книг казалось ещё больше. Несколько картин, висевших на стенах, я узнал. Трудно было в это поверить, но они не пропали, оказались теперь здесь, в новой жизни. Всё было как в Петергофе. Вот только вместо югославской печатной машинки в одном из углов комнаты стоял старенький стационарный компьютер, а вместо новенького пианино «Красный октябрь» стоял потрёпанный ветеран Blüthner.

Вода из крана на кухне сильно капала.

Лёля достала из холодильника упаковку русских пельменей, бросила замороженные пельмени в кастрюлю с холодной водой, довела до кипения и выключила. Она так и не научилась готовить.

Я разлил принесённый рислинг по бокалам (в доме нашлось два непарных бокала — один звучал как почти чистое «ля», а второй — на полтона ниже), незаметно, чтобы Лёля не видела, довёл пельмени до съедобного состояния, и мы сели за небольшой столик на кухоньке.

— Ты знаешь, что интересно? Ведь я нашла тебя благодаря Гульду. Я подписалась в социальных сетях на группу о Гульде, и вдруг поняла, что это именно ты в ней модератор! И написала. Молодец, что собрался и приехал.

— Ну как же я мог не приехать, Лёля! Я же должен был вернуть тебе то, что взял в прошлый раз.

Она улыбнулась.

Лёля пожаловалась, что совсем уже не может играть: пальцы левой руки потеряли подвижность, беглость. Она сказала что-то про травму руки, но не раскрыла детали.

И мне в голову пришла идея.

— Садись к инструменту, — сказал я.

Лёля замешкалась и мне пришлось повторить просьбу и даже слегка направить Лёлю за плечи.

Она села за пианино: вдруг такая хрупкая, маленькая, с седой головой-одуванчиком. Села послушно, как хорошая ученица.

На пианино лежала довольно большая стопка нот. Я взял первую тетрадь и с некоторым удивлением обнаружил «Французские сюиты» Баха под редакцией Петри — московское издание, Музгиз 1962 года. Пожелтевшие, плотные страницы.

Я нашёл Allemande из Второй сюиты.

— Вот, что мы с тобой будем играть. Я буду твоей левой рукой.

— Но это вряд ли получится, Лёня. Ты же знаешь: чтобы так сыграть, нужно репетировать...

— А мы сыграем так, как сможем. Как получится, хорошо? Ты вступаешь за такт. Вот темп: и раз-тата-та-та-та-та-трататата. Попробуем?

Я подошёл к ней сзади, очень плотно прижался к её спине, прислонившись правой щекой к её виску: седина моей бороды к седине её волос. И мы начали играть.

Пару раз сбились почти сразу. Мне было не очень удобно играть стоя, из-за спины Лёли, но я приноровился.

Мы сыграли всё от начала и до конца — далеко не идеально, но для нас это уже не имело никакого значения.

Когда мы закончили, Лёля крепко-крепко прижалась головой к моему плечу. Мы оба молчали.

Бывают такие моменты, когда нет смысла что-либо говорить.

— Лёля, — решился я, — ведь это я во всём виноват.

— Лёничка, о чём ты?

— Я рассказал про тебя Клопу. А он оказался стукачом. В тот проклятый Новый год перед арестом. Я виноват, Лёля. Это я, понимаешь, я во всём виноват! Если хоть как-то я могу выпросить твоё прощение, знай, что я мучусь этим всю свою жизнь.

Я задохнулся и почувствовал, что не могу ни говорить, ни дышать, ни жить дальше.

— Лёня. Дорогой мой седой мальчик! Какой клоп? Какой Новый год? Помнишь ночь, когда мы познакомились? Человек, которому я верила, которого, как мне казалось, я любила — он в тот новогодний вечер предложил мне писать отчёты обо всём, что происходит вокруг меня. Обо всех. Понимаешь? Я его любила, а для него это была спецоперация. Я отказалась, я убежала, хлопнув дверью. Такое они тогда не прощали: ведь я не просто отказалась, я получается спалила их важного работника, который к нам затесался. И вот тут почти сразу я встретила тебя на платформе: такого наивного, славного, старомодного, не испачканного ещё всей этой мерзостью. Я не должна была так сблизиться с тобой, Лёня, зная, что мне грозит. Но я не смогла себе в этом отказать. Это ты прости меня. Я так боялась, что навредила тебе! Я боялась, что тебя исключили из института, что тебя отправили в Афганистан. И всё из-за меня. Боже мой! Какие только ужасы не приходили мне в голову, Лёничка... Но про тебя никто ничего не знал. Я рассказала только Володе Шустерману. Сказала ему, что ты мой ученик. Он должен был предупредить тебя о моём аресте.

— А я думал, что это был кэгэбэшник.

— Ну какой кэгэбэшник? Зачем им тебя предупреждать. Это был Володя — муж моей кузины. Они сейчас в Филадельфии живут. Я вообще всегда жалела потом, что не познакомила тебя тогда со своими друзьями. Там были очень интересные люди. Но что теперь говорить...

Она помолчала.

— Потом я читала материалы дела и там не было ни слова про тебя. Слава Богу, ни единого слова. А потом, в девяностые уже, я узнала, что ты уехал. Я увидела в электричке женщину с твоими глазами и узнала шарф! Представляешь? Я знала, что вещь практичная и долго прослужит! Это смешно, но это так и было. Я спросила эту женщину, не мама ли она Лёни. Я ведь даже не знала твоей фамилии! И твоя мама очень удивилась. Я сказала, что была твоей учительницей и просила передать тебе привет от Элеоноры Михайловны... Она рассказала, что ты теперь живёшь в Бостоне, что ты музыкант. Я была так счастлива, Лёня! Так счастлива... У тебя, кстати, прекрасная мама. Как она?

— Мамы уже нет...

— Прости, Лёничка. Я не знала.

— Но почему ты тогда не взяла у мамы мой адрес? Она бы тебе его точно дала. Почему не написала мне?

— Я подумала, Лёня, что ты теперь живёшь другой жизнью...

— Я дважды пытался жить другой жизнью. И у меня дважды ничего не получилось. Мне кажется, что я утратил способность быть... — я не знал, чем завершить эту фразу, замешкался, подыскивая слова, — я утратил возможность быть терпимым к чужим повседневным недостаткам.

— Видишь, ты всегда винишь себя в том, в чём совершенно нет твоей вины, — она покачала головой, не соглашаясь с таким положением дел в моей жизни.

— Видимо, я так и не научился быть свободным, Лёля.

Она улыбнулась милой, но совсем теперь другой улыбкой:

— Я тоже. Но, поверь мне, я научилась ценить свободу. И свобода, как оказалось, находится по соседству с одиночеством.

— Значит, теперь мы с тобой оба одинокие человеки, Элеонора Ригби.

— Ну ты ведь не одинок. Я про тебя всё прочитала. Мне кажется, что ты всё-таки нашёл свой внутренний камертон: у тебя столько прекрасных учеников.

— Это и твои ученики. И мой камертон — это ты. Ты всегда. Сколько я себя помню. Ты мой внутренний камертон, дающий мне верную тональность всю мою жизнь. И без тебя ничего не было бы...

— Merci...

Она протянула ко мне обе руки, взяла в ладони мою голову. Поцеловала мой лоб.

Я схвати её руки, её ладони и уткнулся в них лицом.

— Всё пройдёт, Лёничка. Всё проходит. Пройдёт и это.

— Да, Лёля. Да, моя дорогая.

В доме не оказалось разводного ключа. Это меня совсем не удивило.

Я спустился вниз, зашёл в хозяйственный магазин и купил всё необходимое для починки крана.